





— Сонюшка, может, лучше не пойдем? Я волнуюсь! Вдруг раньше начнется?

В большое, с пола до потолка, зеркало смотрелся чуть седой подтянутый мужчина, статный, усатый, во фраке и бабочке. Он подкручивал ус, который топорщился и не желал красиво загибаться. Чуть поодаль стояла совершенно седая женщина, полноватая, с мягкой улыбкой, красиво прибранная, ухоженная, уютная, чем-то похожая на добрую фею из сказки про Золушку. Она куталась в большую шаль с кистями и улыбалась.

— Ну что ты, — раздался молодой женский голос из спальни. — Чтобы Новый год и дома? Как ты себе это представляешь? Я ж не больная какая, мне и потанцевать хочется!

— Сонюшка, ну какое танцевать? Ты меня пугаешь! — воскликнул Андрей Николаич.

— Да уж, вы приглядите за ней, — попросила Наталья Матвеевна, Сонюшкина бабушка.

Сонюшка вышла из спальни, поправляя накидку, которая не могла уже прикрыть большой выпирающий живот.

— Не волнуйся, пожалуйста, еще целых две недели!

Мужчина отошел на шаг и оценивающе взглянул на жену.

— Какая ты у меня красавица!

Андрей Николаевич Незлобин, профессор Московского биологического факультета, год назад женился на своей курсистке Сонечке Гриневич, которая с удовольствием и рвением изучала жизнь бабочек на Высших женских курсах, где Андрей Николаевич преподавал. Он был человеком достойным, уважаемым, хотя каждая курсистка, видимо, удивлялась, как человек такой мужественной наружности, такой приличный и, можно сказать, яркий господин, по облику подходящий скорее для генеральской формы и геройских подвигов, всю жизнь пробегал за бабочками и был вполне доволен своей судьбой. Хотя ничего от военного в характере у Андрея Николаевича не было. Профессия его называлась очень романтично — лепидоптеролог, человек, занимающийся бабочками, точнее, чешуекрылыми насекомыми. Молоденькие

курсистки, чуть исковеркав это умное латинское название, стали, конечно же, именовать его, чуть краснея, несколько по-другому, «либидоптеролог». Удивительно, как он до своих тридцати восьми лет оставался совершенно неженатым, это было просто удивительно! Хотя когда ему было жениться? Он постоянно путешествовал, ездил в долгие заморские экспедиции, бегал по тропическим лесам с сачком и радовался, как мальчик, когда ловил какое-то редкое чудо. Обошел почти всю Южную Америку и там, в богом забытой маленькой Боливии, возле озера Титикака, поймал двух странных бабочек — удивительных, беленьких, с ярко-красными верхними крылышками, и можно сказать, совсем непримечательных, если бы не одно, вернее, два «но» — у одной на крыльях было красиво и четко прорисовано число 88, а у другой — 89. Так это тогда поразило молодого Незлобина, что он решил, что будет разгадывать этот тайный смысл, эту загадку природы, этот шифр, если хотите, эту *Diaethria eluina* из семейства нимфалид, саму волшебную нимфу, никак не иначе. И теперь дома, на стенке перед зеркалом, две эти бабочки из той дальней поездки висели в рамочке под своими природными порядковыми номерами — 88 и 89, мало чем остальным друг от друга отличаясь. А где же те,

что до и после, думал Незлобин, хотя знал, что попадались, но не ему, бабочки с числами 13, 56 и 80. Почему именно такие?

Вот и рассуждал он на эти темы с ученицами, предлагая им делать свои предположения, думать по-ученому, строить гипотезы и жизнь эту красивую бабочью рассматривать уже под иным, научным, а не просто романтическим углом. Ученицы вздыхали, волооко смотрели на профессора и время от времени поправляли волосы, картинно взмахивая рукой. Сонечка Гриневич волосы не поправляла, не вздыхала и к бабочкам отношение имела не вздыхательное, а вполне исследовательское, поначалу рассматривая профессора Незлобина как необходимое приложение к миру чешуекрылых, или насекомых с полным превращением, если уж говорить по-научному. И как водится в природе, если бабочка сама не летела на профессорский огонек, еле заметный из-за обилия других девичьих полупрозрачных крылышек, огонек этот заколыхался сам, и феромоны пошли в нужном направлении, к Сонечке Гриневич. Ей, как и всем курсисткам, было чуть больше двадцати. Нельзя сказать, что она была писаной красавицей, нет, она была хороша собой и светилась какой-то внутренней красотой, которая с первого раза и неразличима, а потом прозреваешь

и удивляешься, как это такие сказочные существа могут рождаться среди простых людей? Русая, в рыжину, с глазами цвета болотного омута в янтарную крапинку, глубокими, эльфийскими, влажными. Она сама не понимала, какие у нее глаза, а когда поднимала их на кого-то, вскинув бровь, то лишала на мгновение дара речи, надо было встряхнуться и прийти в себя, чтобы продолжить с ней разговор. Носик чуть с горбинкой, с характером, породистый. И губки достаточно полные, улыбочивые, не ниточки какие-нибудь. Да, а самое важное — у Сонечки были на щеках ямочки! Они жили своей жизнью, то пропадая совсем и теряясь где-то в щечках, то появляясь во всей красе именно там, где необходимо, и вызывая подсознательный восторг и какое-то детское умиление. Нрава она была вполне спокойного, в спор вступала редко и говорила всегда по существу.

Сонечка сначала и не понимала, почему профессор вдруг стал к ней так внимателен, иногда вроде бы случайно касался ее руки, передавая, скажем, хрупкий экспонат, или же воровато вдыхал запах ее волос, когда наклонялся проверить, как она справляется с заданием. Подходил мягко, по-кошачьи, сзади, опирался одной рукой на спинку ее стула, а другой на стол, и так тихо, что она иногда этого не замечала. Потом

чуть сгибался, пытаясь прочесть ее почерк и наслаждаясь чуть слышным сливочным ароматом французских «Жижи», разделяя, как химик, его на составные: сначала, на верхних нотах, чувствовались бергамот с розмарином, которые вдруг смывались лавандой с жасмином, и вот шла основа, узнававшаяся уже где-то на большой глубине вдоха — кожа, специи, сандал, палисандр. Все вместе это смешивалось в аромат, прекрасно подходящий, видимо, и мужчине и женщине, дразнящий, интригующий и томный одновременно. Профессор выпускал из ноздрей этот волнующий запах, уже оказавший нужное влияние на его подсознание, а Сонечка подносила руку к тому самому месту на шейке, где от страстного вздоха чуть шевелились ее рыжеватые локоночки. Девушки, сидящие сзади, гневно переглядывались и шипели, не понимая совсем, как Сонька, не прикладывая никаких видимых усилий, прилепила к себе такого завидного мужчину, а они, как ни стараются, всё как рыба облед! Хотя Сонечка поначалу давала понять, что не интересуют ее эти профессорские феромоны, что не станет она, как мотылек, лететь на сомнительный фитилек — уж слишком хорош был Андрей Николаич, чтоб вот так вдруг ею заинтересоваться! Вон у него какой выбор! Почему именно она? И держалась из последних сил, хотя

предательские мурашки уже начинали бегать по телу, когда она видела, что учитель отходит от своего огромного стола и начинает движение по периметру класса, сначала мимо высоких окон, потом мимо стеклянных шкафов с экспонатами, затем уже по ряду, где сидела она, Соня. Профессор подходил все чаще, почти на каждом занятии, нагибался все ниже, к самому ее ушку, и шептал, чтобы якобы не мешать остальным:

— Госпожа Гриневич, у вас стоят неправильные сроки... Надо же синхронизировать выход самцов и самок. — Он брал минутную паузу и продолжал: — Необходим естественный выход из диапаузы, правильно? Скажем, 10 дней у кого? — И он еще ниже наклонялся к Сонечке, пытаясь услышать ответ.

— У павлиньего глаза? — робко спрашивала она.

— Уточните, пожалуйста, — настаивал профессор вполголоса и вставал уже от нее сбоку, чтобы ненароком прикоснуться к ее плечу.

— Ох, извините, сударыня, так какой именно павлиний глаз?

— Малый? — снова спрашивала Сонюшка, поднимая глаза.

— Не просто малый, а малый ночной, — уточнял профессор. — Он летает ночью, когда многие насекомые спят. Ночью... — И он снова



вздыхал о чем-то своем. — А, скажем, бабочки грушевой сатурнии выходят через 35, а то и 40 дней! Столько формируется простая бабочка! А кролик или хомяк вынашивается всего 20 дней, это же так удивительно, вы не находите?

Соня находила и теперь уже сидела в предвкушении этих каждодневных профессорских подходов и наклонов к ней, заливалась румянцем, теребила косу и ждала, что Андрей Николаич ей скажет, искала иносказательный смысл и была к этому смыслу почти готова. Все складывалось само собой, но длиться эти подходы и наклоны могли годами, ни та, ни другая сторона настойчивости не проявляла, он — из-за своего служебного положения, внутренней сдержанности и невозможности завязать отношения с курсисткой, она — в силу неопытности, наивности и трепета. И вот курсы уже заканчивались и оставалось одно практическое занятие перед экзаменами — выезд на природу, поимка дневных и ночных бабочек, их классификация, усыпление и сохранение.

Выбрали хороший денек, отправились в Фили с Брестского вокзала, где находилась старая профессорская дача. Взяли все необходимое — сачки, столики раскладные, стульчики, пледы толстые на земле расстелить, инструменты кое-какие, банки для пойманных бабочек,

еды, всякого еще по мелочи — и поехали. С лаборантом и сторожем университетским для помощи. Ехали весело, звонко, заняли полвагона и все щебетали да щебетали, чувствуя не скованную институтскими стенами свободу. Походили по окрестностям, выбрали солнечную пряную полянку и начали охоту. Андрей Николаич восседал сначала по-кутузовски на пригорке и следил за полем боя, улыбаясь в усы и глядя на бегающих с разноцветными сачками великовозрастных девочек, все как одна в белых летних батистовых платьях с кружевами и шляпках с развевающимися лентами. Потом не выдержал и решил присоединиться, схватив свой именной сачок, нахлобучив шляпу и легко вбежав в круг мечущихся девушек, как в морскую воду с легкой белой кружевной пеной. Ахи, охи, споткнувшаяся Соня, Андрей Николаич, оказавшийся рядом, все рассчитано и продумано до мелочей, не то природой, не то волшебным совпадением, но вот уже он ведет ее под ручку, усаживает на плед, сам садится рядом и шепчет что-то, совсем не имеющее отношения к бабочкам, судя по Сонечкиному удивленному выражению лица и разливающемуся по щекам румянцу. И уже не до практических занятий по классификации бабочек, природа звала практиковаться в любви, и оба — он и она — были к этому готовы.

— Пойдем, — сказал он и повел Сонечку по тропинке к старым дачам, стоявшим неподалеку. Она знала, зачем он ее ведет, и абсолютно не противилась, наоборот, была в ней какая-то природная готовность, какой-то вызов, что-то непонятное и яркое закипало внутри, неподвластное контролю и разуму. И эта Сонечкина полуулыбка на полудетском лице выдавала ее желание. Она даже споткнулась — упадок сил и легкая истома...

Вдруг Андрей Николаич резко остановился и обернулся к ней.

— Я хочу, чтоб ты стала моей женой. — Он вдруг резко перешел на «ты», и Сонечку это совсем не удивило. — Я люблю тебя. Я говорю тебе это сейчас, пока ничего между нами нет, понимаешь?

— Да, — выдохнула Соня, — да, да...

Они пошли дальше, к даче, которая мрачно возвышалась над старыми скрюченными сиреневыми кустами. И ключ не поворачивался в замке, и поспешные поцелуи, и неловкая суета, словно надо успеть сейчас сделать самое важное, безотлагательное и не терпящее препятствий, сразу, моментально, и пусть весь мир подождет! И оба готовы, оба, совершенно в любви неопытные, — один, пробежавший по всему свету за бабочками и имевший всего двух-трех случайных спутниц, скорее даже просто поимевший, и другая — чистая, девственная, гадающая в течение долгих

подростковых и девичьих лет, как это может в первый раз случиться, где, с кем, зашуршат ли бабочки крылышками в животе (как хорошо, что она о бабочках теперь все знает!), какие важные слова будут мужем произнесены, ведь это будет только после свадьбы, правда же? А оказалось, что нет, неправда, что бывает по-другому, намного неожиданнее и мощнее, с чувствами, на удивление более сильными, чем раньше даже могло казаться, с такими страстными словами и стонами, что как в последний раз! Да, именно так, этот первый раз, как самый последний, и больше никогда ничего не будет, никогда, и надо успеть насладиться! Они успели и сами удивились природе, которая захлестнула их обоих, превратив на время в первозданных людей, от которых зависело будущее всего человечества.

А потом венчание, свадьба и ожидание первенца, того самого, дачного, который уже почти сформировался и теперь яростно пинался под Сонечкиным сердцем.

Андрей Николаич помог Сонечке надеть шубку и еще раз посмотрел через зеркало на жену — красавица, как же я счастлив, пронеслось в голове. Сонечка улыбнулась, поправила шаль на голове, и они вышли, оставив на зеркале Сонечкины перчатки.

Зеркало было высокое, вмещавшее отражение всей большой комнаты, с полу до потолка. Оно и еще кое-что из мебели было подарено много лет назад Сониной бабушке, Наталье Матвеевне, на совершеннолетие. Подарок сделала дальняя родственница из Мышкина, неизвестно по какой причине вдруг возникшая и приславшая обстоятельное письмо, где говорилось, что она уже в годах и хочет оставить о себе добрую память — подарить фамильное зеркало самой молодой девушке из рода. Причем за зеркалом надо было приехать самолично с мамой, это было важным условием при его передаче. Наталья было покобенилась немного, ехать было долго и лень, но мама строго сказала, надо, значит, надо, и родственницу уважишь, и провинцию посмотришь, и зеркало потом в новый дом не надо будет покупать. Хотя родственницу эту мышкинскую особо и не знали и слышать о ней не слышали. Но поехали, а там на недельку и остались, погуляли-поотдыхали, старушку поразвлекали. Старушка оказалась преинтересной рассказчицей, доброй, чуть поскрипывающей, но ветви тупиковой, одинокой и бездетной, только крепостные девки и бегали у нее по двору. «Что ж раньше не звали», — спросила Наташина мама. «Так я тогда умирать не собиралась, а теперь самое время». Наташа

вскинулась тогда: «Да как же такое говорить можно! Зачем несчастье призывать?» «Да ты не бойся, девочка, от этого ж никуда не деться, а мне вот надо реликвию семейную передать, пока не передам — не уйду». Но зеркала пока так и не показала. Когда через пару дней пришла пора уезжать, родственница зажгла свечу, торжественно взяла Наталью за руку и повела в заднюю комнату, куда раньше доступа не было. Там, кроме зеркала да кресла, ничего не стояло. Само зеркало было до потолка, закрытое тонким зеленым газом, но видно было, что оно из черного лакированного дерева с литыми бронзовыми вензелями по всей раме, а сверху полукруглая кокарда, такая же черная и блестящая, как и все остальное. Да еще и столик маленький, перерезающий гладь почти пополам. Старушка подошла к нему и начала наматывать невесомую ткань на свою узловатую руку. Ткань легко скомкалась, и Наталья наконец увидела свое отражение не через дымку.

— Встань, пожалуйста, рядом, деточка, надо завершить передачу, — сказала родственница, взяв ее за руку. Они встали, касаясь плечами, перед зеркалом. Старушка начала что-то шепеляво шептать, прикрыв глаза, а Наталья рассматривала блестящее полотно, покрытое старинной амальгамой. Полотно было фасет-

ное, с отполированным срезом, примыкающим к раме по всей длине и отливающим в этом месте изумрудным светом. Наталья залюбовалась и улыбнулась. Свет в зеркале играл и переливался, хотя уже наступил вечер, а единственное окно не пропускало ни лучика с улицы, только свечка и коптила убого.

— Положи руку на столик, деточка, — сказала родственница тихим голосом, почти шепотом, словно боясь кого-то спугнуть.

Наташа положила ладонь на лакированную, чуть потертую поверхность. Старушка теперь зашевелила губами совсем тихо и невнятно, накрыв Наташину руку своей. Зачем такие странные и долгие обряды, подумала тогда Наташа. Хотели подарить, дарите, а тут столько усилий и условий, даже неловко как-то.

Старушка шептала недолго. «Вот и всё, — сказала, — теперь оно по праву твое. Теперь следи, чтоб довели аккуратно, чтоб ни скола, ни трещинки, чтоб дома на видном месте поставить и беречь как зеницу ока».

— Неужели волшебное? — засмеялась Наташа.

— А может, и так, — был тихий ответ.

В общем, тогда постарались, обмотали одеялами, которые родственница выделила, завязали

веревками, положили на мешки с мукой, чтоб помягче, и довели кое-как. У нового московского, только что отстроенного дома его сняли, и Наташа со страхом стала его разворачивать сама, никого не допустив. Зеркало смотрело вверх и отражало небо. Небо оно видело впервые, в нем пролетали птицы и плыли облака. Но это было много-много лет назад. Наташа уже давно превратилась в Наталью Матвеевну, вышла замуж за хорошего, но небогатого человека, родила ему дочку, и та тоже дочку, Сонечку, но умерла в родах. Наталья Матвеевна об этом старалась не вспоминать — как это было возможно — потерять дочь и следом зятя почти в одночасье? Зять, крепко выпив, повесился на единственном крепком крюке, на люстре, посреди гостиной сразу после гибели Александры, любовь у них была какая-то болезненно ненормальная, проходили всю недолгую жизнь, держась за руки, и дышать друг без друга не могли. Вот в смерти и не разлучились. Наталья Матвеевна как раз спускалась из детской, где заснула новорожденная Сонечка, и осела, увидев в отражении зеркала грузно раскачивающееся тело зятя. Слаб оказался мужик, по мнению Натальи Матвеевны, — как дочку можно было оставить? Неправильный порыв был, не по-божески. Сначала Наталья хотела дом бросить и найти другое жилье, без воспоминаний, но по каким-то затейливым обсто-



ятельствам из усадьбочки этой в арбатских переулках семья так и не выехала, все откладывалось и откладывалось, а потом утихло все и смирилось. Наоборот, пристраивались флигельки и людские, дом надстраивался и толстел, и что-то тянуло в него, как магнитом.

А теперь зеркало смотрело на просторную гостиную с массивной дорогой люстрой, большие окна прямо перед собой и справа, углом, на прозрачную стеклянную дверь почти во всю стену, которая вела в столовую и дальше на кухню. В дальнем углу комнаты был маленький чуланчик, который использовали как вместительный книжный шкаф, куда можно было войти и выбрать нужную книгу. Сбоку от зеркала была дверь в коридор, а дальше в спальни и каморку прислуги. В комнате было много растений в неподъемных кадках (Сонечка очень любила ухаживать за цветами), а на стенах висели картины модных в то время передвижников и рамочки с редкими бабочками, которые Андрей Николаич привез из дальних стран. И мебель, легкая, модная, витая, фирмы братьев Тонет, из гнутого бука, крашенная черным лаком, очень выгодно смотрелась на фоне теплых бежевых стен. Столик посередине зеркала, конечно, пообтерся за все время, он очень был в ходу, и на него всегда что-нибудь

да клали — пирожки ли родственникам, чтобы не забыть, цветы ли в гости, визитные карточки ли пришедших, свежие ли газеты. В прихожей тоже висело зеркало, но им пользовались так, невзначай, чтобы взглянуть на себя краем глаза при выходе или улыбнуться во весь рот, когда что-то позабудешь и надо срочно вернуться, есть же такая примета. Поэтому то маленькое зеркало было даже не в счет. А это, парадное, старинное, так и стояло на своем месте, сколько существовало и сам двухэтажный дом в тихом московском центре, в Малом Власьевском переулке, среди цветущих садов и уютных двориков. Привезли его тогда году в 1830-м, и встало оно на свое почетное место в большой гостиной, впитывая в себя все то, что происходило перед его лицом, — людей, уходящих и приходящих, страсти, которые кипели перед его серебряным полотном, быстро, почти мгновенно сменяющиеся времена года в окнах и простой семейный быт родителей и пра-родителей.

Теперь, в эту последнюю декабрьскую ночь, перед зеркалом, чуть в углу у окна, прямо рядом с камином, стояла яркая новогодняя елка с блестящим дождем и стеклянными шарами, а на стене за ней — большой подарочный календарь Брокера, на котором день — 31 декабря 1899 года.

На самом деле новый год наступил уже пару часов назад, когда под окнами раздался скрип саней, возня, крики и открылась входная дверь.

— Сонюшка, ну как же так, сейчас, Сонюшка, сейчас... — Андрей Николаич суетился возле жены, ведя ее под руки к дивану.

— О-о-ох, началось, м-м-м-м-м-м, — стонала Сонюшка, держась за живот. — Ведь воды отошли уже вон когда, должно уж скоро...

— За доктором и Семеновной послали, скоро будут, потерпи, родная моя... — Андрей Николаич провел ее прямо в гостиную, стянул с нее шубу, сапожки и устроил поудобнее в подушках. — Терпи, милая, подыши глубоко, вспомни, как мы с тобой за бабочками бегали.

— Больно, Андрюшенька, больно как...

— Сейчас, милая, сейчас... Ну где же доктор?

На шум из соседней комнаты прибежала бабушка Сони, Наталья Матвеевна, которая одна так и воспитывала ее с детства, наняв только кормилицу до года, а после обходилась сама. Сначала рассказывала внучке, что ее принес аист, большой и добрый, который ночью постучал в окно клювом и оставил на пороге сверток, а в нем прехорошенькая девочка. Но потом пришло время, и бабушка сказала правду. Сонечка не переживала, поскольку не очень-то и понимала, зачем нужны мама с папой, когда есть та-

кая замечательная бабушка. Андрею Николаевичу Наталья Матвеевна была рада, видела, что тот полюбил ее внучку, а не просто так на девичью красоту польстился. А теперь уже, дай бог, прибавления дождется, хотя волновалась очень, конечно, роды, дело такое... Наталья Матвеевна как раз раскладывала пасьянс в гостиной, но карты обещали счастливое разрешение.

— Сонюшка, милая, началось? Не волнуйся, все будет хорошо. — Она кинула колоду на зеркало и краем глаза увидела, что открылись две карты — король пик и семерка трэф — неожиданная встреча и рождение ребенка.

Минут через пятнадцать приехал наконец доктор, скинул шубу и прошел к стонущей Соне.

— Я не знала, что это так больно..

— Ничего, Софья Сергеевна, потерпите. Давайте мы вас посмотрим. Андрей Николаевич, покиньте, пожалуйста, помещение, а вы, Наталья Матвеевна, поставьте кипятить воды.

— У меня уже все готово, доктор, за Семёновой послали, надеюсь достучатся, — сказала бабушка.

Доктор подошел к Сонечке, оголил большой живот и короткой деревянной трубкой стал внимательно прослушивать дитячий пульс. Потом обхватил Сонино запястье.

— Все в порядке, милая, все в порядке, — сказал он, взяв Соню за бледные пальцы, — сейчас Семеновна придет и поглядит, как дела.

Доктор отошел от дивана, на котором лежала Соня, и посмотрел в зеркало, потом вынул часы и сверил время. Три часа ночи, самое время для родов. Дети, они зачинаются ночью и рождаются в основном ночью, все правильно.

Наталья Матвеевна принесла Сонюшке кружевную ночную рубашку, стащила с нее платье, закрыв наготу своим телом, и снова опустила Соню на подушки.

— Когда же все разрешится, доктор? Нет сил терпеть, — шептала Сонюшка.

В прихожей хлопнула дверь, но довольно долго в комнате никто не появлялся. Семеновна громыхала тазами, разводила воду, выбирала простыни, долго и тщательно мыла руки, бубнила чего-то, видимо, молитву или заговор, надевала фартук и вот, наконец, вошла, большая, полная, румяная, голубоглазая, с засученными рукавами и в длинном чистом фартуке и платке, похожая скорее на могучую доярку, а не на бабу-повитуху. О ней по Москве ходили легенды. Родила десятерых, всех вывела в люди, дала профессию. Один мальчонка ее даже картины стал писать и в театре декорации красил. Дочек сначала своих разрешала, спину им после родов

правила, дитяткам новорожденным, внукам своим, шеи на место ставила, парила, заговаривала, все росли здоровые и ладные. Скотине телиться помогала, скотина раньше в Москве-то по дворам водилась. Всё могла. Так и стали обращаться к ней за помощью, пошла молва, что роды она принимает легко и спокойно, детки получаются хорошие. Лет в 50 и стали уважительно обращаться к ней «бабка». Ну а что можно лучше придумать, чем помогать детишек на свет рожать? До всего Семеновна доходила своим умом, всему был свой опыт, но на два летних месяца уезжала куда-то в глушь и приезжала притихшая, с травами какими-то, банками-склянками, коробами пахучими. Даже свои не знали, где именно Семеновна бродит. А она ехала на перекладных до Каргополя и там пёхом в берендеев лес, где жила древняя старуха с козами, бабка-повитуха, не то ведьма, не то святая, не разберешь ее, но мудрости удивительной и нрава вполне сносного. Вот и училась Семеновна у нее, у дальней-предальной своей родственницы, слушала, запоминала, записывала все корявым детским почерком, молитвы заучивала, заговоры всякие. В лес глубоко ходили по травы да мхи, именно в полдень, когда солнце высоко и все подсохло, срывали частями именно то, что нужно, цветки, листоч-

ки, никогда без надобности ничего с корнем не вырывая. Только чернобыльник выдирали как есть, первая в их деле трава, чтобы много и про запас, но это было просто, он охотно селился на полянках и опушках, всегда был под рукой, как крапива. Видимо, бог так распорядился, чтобы трава эта росла в избытке, первая помощь при всех людских болезнях. Заготавливали бабки и верхки, и корешки, делали потом и напар, и отвар для облегчения родов. Бабки ходили по полям, одна клюкой своей по разным травам водила, тыкала, рассказывала что-то, другая, Семеновна, всё кивала да на ус наматывала. Чему там особому Семеновна у старухи училась, одному богу известно, но как приезжала домой, так неделю еще раскладывала сокровища свои по холщовым мешочкам, метила какими-то буквами, подвешивала под потолок или складывала в огромный деревенский сундук, на котором спала, ночами охраняя никому не нужное богатство своим большим телом.

— Помогай бог трудиться! — произнесла она первым делом, войдя в комнату. — А баньки-то нет натопленной?

— Нет, Семеновна, — вздохнула Наталья Матвеевна.

— На нет и суда нет, это я так, к слову спросила. Мужа-то я вашего вон отправила,

вы уж меня извините, ни к чему ему быть там, где бабы свои дела делают, — сказала она, расстелив на зеркальном столике простынку, поставив сверху таз с полотенцами и приткнув какие-то отвары в склянках.

— Болит, часто уже болит, сил нет, передохнуть не могу, — начала жаловаться Сонечка.

— Сердечко хорошее и у мамыши и у ребеночка, все в порядке, Семеновна, — дал свое заключение доктор, — скоро должна разрешиться.

— Ну и славно, вы уж идите, батенька, я дело свое знаю, лишние глаза мне тут не нужны, — сказала она ему.

Тот, давно зная Семеновну, послушно вышел, словно получил приказ свыше. Семеновна подошла к Сонюшке, внимательно на нее посмотрела, что-то прикинула, закатив глаза, потом окропила Соню святой водой, а в головах поставила свою старую намоленную икону Божьей матери да свечку восковую зажгла перед ней. Уж сколько икона эта видела детишек, только что вынутых из теплого материнского чрева, никто и не считал, но Семеновна без нее на роды даже и из дому не выходила. Помолилась перед ней, тихо нашептывая и не обращая внимания на стоны роженицы, потом всю её просмотрела, ноги намяла, живот пощупала.

— Ну что, мальчонке имя-то придумали? — спросила она Соню.



— Мальчик? У меня будет мальчик? — обрадовалась Сонюшка.

— Да ты и девке была бы рада! А будет малец, точно малец, по всем признакам. Давай-ка теперь волоса распустим. — Она начала вытаскивать длинные шпильки из Сонечкиной новогодней прически, распустив по подушке шикарные рыжие, так тщательно завитые утром кудри. — Кольца снимай, украшения все, рубаху распахни, узел-то на шее развяжи, ишь! А вы, Наталья, идите все замки да лари отворите, двери в комодах приоткройте, чтобы ребеночек без затруднений вышел!

— Крестик я оставлю, можно? — робко спросила Соня.

— Всё снимай! Крестик в руку возьми, остальное на зеркало положь. Давай еще разок проверим, как ребятеночек.

Семеновна захлопотала у ног Сони, та вскрикнула.

— Ну все, малец на ходу, все идет своим чередом. Вставай и пойдем со мной, буду водить тебя, дитю путь показывать.

Сонюшка тяжело встала и оперлась на руку Натальи Матвеевны.

— Ну что, Наталья, успокойся, не хлопочи тут, иди пока, молитву почитай, мы сами справимся. Казанской Божьей Матери, Смоленской

и Иерусалимской, — уточнила она и поймала испуганный взгляд бабушки. Волновалась та сильно, хоть старалась виду не подавать и не беспокоить Соню, но сердце то сжималось, то наливалось кровью, и вдруг страх, абсолютно осязаемый, чуть отпустив сердце, сковал колени, которые неожиданно подломились, и Наталья Матвеевна чуть не упала, ударив рукой по зеркальному столику.

— Ишь, мать моя, ты чего это надумала? Ну-ка, соберись-ка, соберись! Ты чего боишься? Что внучку в родах потеряешь? — От такого вопроса Наталье Матвеевне стало совсем плохо, именно этого она и боялась, но Семеновна говорила всё своими словами. — Даже не думай о таком! Ишь! Не отдам я ее! Не отдам! Иди-ка помолись лучше, помоги молитвою!

Семеновна хорошенько встряхнула Наталью Матвеевну, та вдруг мгновенно обрела силу и пошла из комнаты вон. Теперь Семеновна взяла Соню под руку и повела по комнатам. Двери везде были отворены и две странные фигуры — Соня с распущенными волосами и в длинной распахнутой до груди ночной рубашке, из которой выпирал большой живот, и Семеновна — большая, сдобная и бурчащая что-то под нос, ходили через пороги туда-сюда бесчисленное количество раз мимо зеркала. Зеркало бесстрастно

наблюдало это хождение, хотя, наверное, и не совсем бесстрастно. За долгие годы оно столько в себя впитало — взглядов, отражений и особенно душ, которые толпились теперь по ту сторону амальгамы и вбирали в себя мельчайшие движения, флюиды и эмоции живых людей. Присасывались по-паразитски к живой и теплой душе никому не видимой связью, забрасывая прозрачные паутинные нити через зеркало из зазеркального мира в реальный, и вдруг ёкало у взглянувшего сердце, обрывалось, ухало куда-то вниз, щемило и начинало ныть. Ничего не подозревающий и не понимающий человек весь покрывался испариной, мурашками и понять не мог, почему на душе стало так скверно. Особенно привлекательны для душ этих серых были события высокого человеческого напряжения — роды, смерти, любовные акты, убийства, свадьбы, несчастные случаи, мало ли что могло случиться перед зеркалом. И необязательно плохое, нет, просто животный страх смерти давал столько пищи, что не шел ни в какое сравнение с обыкновенной радостью.

— Дай передохнуть, Семеновна, не могу больше, — застонала Соня.

Семеновна усадила ее на диван спиной к себе и стала натирать ей поясницу лампадным мас-

лом, снова что-то приговаривая. Потом дала ей выпить какого-то отвара, опять опрокинула Софью на подушки и завозилась у ее ног:

— Потерпи, касатка, потерпи, все благополучно будет, все по-доброму идет, мальчонка уж весь на воротах стоит! Пойдем еще кружок сделаем.

Еще два круга по дому было сделано, и Соношка охнула:

— Рожая, Семеновна, видит бог, рожая!

Бабка положила Соню на диван и стала колдовать меж ее раздвинутых ног.

— Вот она головка-то, сейчас я ее раскачаю, а ты силы подавай, касатка моя!

Она подложила под роженицу большое белое полотенце, на котором вдруг вмиг после мощного Софьиного крика показалась головка, а через какое-то мгновение маленький мокрый сморщенный мальчик. Соня, услышав писк, сразу затихла и заулыбалась.

— Малец, — улынулась Семеновна.

Зеркало первым увидело его отражение. Серебряное полотно чуть просветлело, будто поймало солнечный луч из окна. Но за окном была поздняя ночь. Или уже раннее темное утро. Лучик прошел волной по зеркалу и утонул в глубине, словно кто-то его проглотил...



## День второй

Над окнами поднималась почти летняя невесомая пыль, дворник яростно мел мостовую. Что там было утром мести, ночью прошел дождик и все смыл, а что не смыл, то прибил. Пыль летела до высокого первого этажа и в луче майского уже довольно жаркого солнца, искрясь, красиво просачивалась в форточку и, погуляв по утреннему комнатному воздуху, успокаивалась на ковре перед зеркалом. Сама комната ничуть не изменилась за эти годы, лишь в угол встал рояль, на котором музицировала Софья Сергеевна, а на стенке против зеркала прибавились фотографии и рамочки с новыми бабочками, не особо привлекательными, мохнатыми и просто бежевыми, но поражающими размером. Одна среди простачков сильно выделялась и была, конечно, хороша собой

чрезвычайно. Размером с крупного воробышка с распростертыми крылами, но цвета необычного, густо-густо-медового, крепко-чайного в красноту, и формы непривычной — концы верхних крылышек изгибались и напоминали две змеиные головы, смотрящие по сторонам и пугающие соседей. Под ней, под ее рамочкой, было что-то написано на латыни, но буквы маленькие, не разберешь. Андрей Николаевич называл эту бабочку коротко — «Павлин» — и часто ее в разговоре вспоминал.

— Сонюшка, когда за стол? — бывало, спрашивал он жену, и если она просила подождать еще пять-десять минут, то неизменно с улыбкой отвечал, поглядывая на стенку с экспонатами: — Я ж не Павлин какой, так долго не есть! Или Павлин?

— Павлин, Андрюшенька, по красоте как есть Павлин! — улыбалась Сонюшка в ответ и спешила на кухню торопить прислугу.

Павлиноглазка, та, большая медовая полубабочка-полуптица, которая висела на стене, ей тоже нравилась, интересная была не только на вид, хотя маленькие прозрачные треугольные окошечки в ее крылышках Соню по-детски умиляли. Ей нравился стойкий бабочкин характер: она вылезала из своего большого кокона с одной целью — дожидаться своего любимого

и единственного, предназначенного ей природой, и родить от него детей. Она даже ничего не ела, не до того совсем ей, даже челюсти природой предусмотрены не были. Сидела, с места не слетала, ждала неподвижно своего прекраснокрылого принца, который мог учуять ее за много километров, прилетал, любил ее часы напролет, чтоб наверняка оставить потомство, а она потом откладывала яйца и тотчас умирала. Вот такой была короткая бабочкина жизнь, насыщенная ожиданием, терпением, долгом и любовью. Разве ж так у людей, думала Сонюшка? Разве бывает в человеческой жизни, чтоб так, без оглядки? Часто Сонюшка на нее поглядывала, на бабочку эту, подходя к окну, когда провожала мужа в университет, невзначай так, краем глаза, и думала о чем-то о своем.

Зеркало глядело своим плоским серебряным полотном на большой семейный портрет, висящий над камином. Раньше там был летний пейзаж в сине-зеленых тонах модного художника-передвижника Шильдера и тоже Андрея Николаевича. Пейзаж теперь перевесили на стену прямо напротив зеркала, и когда домохозяева подходили к нему, то как бы оказывались в отражении того дымчатого летнего парка, написанного на холсте. Наверное, это был разгар дня, душного и пахучего, когда в безветренном

воздухе стоит взвесь из пыли и пыльцы, когда лень и пора отдохнуть — вон сколько времени прошло с утра. Особенно хорошо смотрелась картина зимой, взгляд ловил в отражении радостные солнечные блики, дорожку, ведущую в тень, и далекую голубую даль. И как на себя ни смотри и перед зеркалом ни красуйся — нет-нет да и глянешь на пустынную дорожку за спиной. И хочется сразу туда.

А над камином теперь, на почетном центральном месте, — совсем недавняя большая фотография семьи, разросшейся и улыбающейся: Андрей Николаевич, отрастивший бородку, чуть постаревший, но самую малость, стоит, возвышаясь над Сонюшкой, расцветшей той мягкой и неслышной женской красотой, которая распускается не разом и зависит не только лишь от внешних черт, а идет изнутри чуть уловимым свечением, улыбкой ли, глубиной глаз, изгибом шеи, милыми ямочками, всем вместе, не давая отвести взгляд. Рядом с отцом — Аркаша, тот самый ровесник века, взрослый ребенок пятнадцати лет, уже выше отца, статный, чуть серьезный и обособленный, с зачесанными назад немного длинными волосами, в синем форменном сюртуке и с фуражкой в руках. С другой его стороны — прабабушка, Наталья Матвеевна, в высоком кресле и праздничном,



хоть и черном, платье. На плече у нее Аркашина рука. Девочка лет пяти-шести, маленькая хорошенькая куколка, Лизонька, с большим голубым бантом и в белом кружевном платье рядом с мамой, за ручку.

Почти ничего не менялось в счастливой жизни Незлобиных на протяжении всех этих долгих лет. Глава семейства все так же рассказывал о чешуекрылых на Высших женских курсах, путешествовал неподалеку, не дальше Кавказа, но все же ездил, прихватывая с собой иногда и Сонюшку, которая нехотя оставляла детей на прислугу и совсем уже малоподвижную прабабушку, пускаясь с мужем на благородный поиск редких бабочек. Прабабушка, Наталья Матвеевна, редко вставала с постели, двигалась совсем плохо, артрит сковывал ее все сильнее и сильнее. Она почти всегда была в компрессах из лопухов или капустных листьев, завернутых вокруг коленей, которые нещадно ныли. Раз в день ее погружали в кресло, несмотря на крики и стоны, и вывозили в люди, к обеденному столу, а после обеда кухарка, тоже Наталья, приземляла ее на большой старый диван напротив зеркала. Аркаша бабуся, он звал ее только так, очень любил и просиживал с ней подолгу, в разговорах ли, в раскладывании ли пасьянсов, а то и просто молча. Была между

ними какая-то внутренняя невидная связь, взаимный глубокий интерес и нежная любовь. Ей доверял все свои юношеские проблемы, не родителям, ей, приходил, садился на край дивана, а она тотчас откладывала свое чтение, снимала очки и внимательно его слушала. У нее всегда было на него время, даже с избытком. И выслушивала она его проблемы подростковые очень серьезно и заинтересованно, словно вопрос стоял о войне и мире или в крайнем случае об экономической реформе в масштабе всей страны. Любви у него пошли детские, а чаще разлуки и предательства. Бабуся была главным советчиком и знала о правнучке много больше, чем мама. Они часто говорили о жизни, о том, что можно и что нельзя, обсуждали новости, даже политику, и бабушка объясняла ему свою точку зрения. А как убили эрцгерцога Франца Фердинанда, бабуся его иначе как дураком Фердинандом не называла, затихла и почуяла недоброе.

— Не любила я дурака этого, но не к добру это, ох, не к добру... Беде быть.

— Отчего ж? — спросил Аркаша.

— Бог ничего так просто не делает, всему смысл придает. Фердинанд этот всю свою ничемную жизнь убивал всех вокруг, не про людей я, животных истреблял, забава у него такая

была охотничья. Что ж это за охота, когда по целым стадам из пулемета? Когда зверенышей малых закалывать и детей своих заставляя на это смотреть? Я уж за эти годы про него наслышалась да начиталась. Изверг! Как есть изверг! По заслугам, по делам его получил. Вот сейчас и пойдет дележка... Не к добру всё...

Как война началась и стали приходить вести с фронта, бабуся изменилась, застыла в ожидании, но потом, спустя уже год, чуть пришла в себя, успокоилась и переключилась на будничную жизнь. Дома дел и без того хватало. Но к вестям с войны она постоянно возвращалась в разговорах с Аркашей, Сонюшкой или Андреем Николаичем. Аркаша приносил слухи из гимназии, у нескольких гимназистов отцы уже ушли на фронт, а один даже успел погибнуть.

Ходил Аркаша в Медведниковскую гимназию, совсем недалеко от дома, на Староконюшенном, недавно открытую, самую по тем временам модную, и по новому типу — древние языки там почти не преподавали, кроме латыни, учил он живые, европейские — английский, французский и немецкий. Хотя немецкий в связи с войной учить приостановил, но потом снова принялся, понял, что иначе книги научные читать не сможет. Анатомией сильно увлекся, только ввели тогда этот урок, никогда